



классика
В школе

Михаил Александрович
Шолохов

Судьба человека

Москва



2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш78

Оформление серии *О. Горбовской*

В оформлении переплета использован
кадр из фильма «Судьба человека», реж. С. Бондарчук
© Киноконцерн «Мосфильм», 1959 год

Шолохов, Михаил Александрович.

Ш78 Судьба человека : рассказы, статьи / Михаил Шолохов. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 192 с. — (Классика в школе).

ISBN 978-5-699-79218-4

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включены рассказы «Алешкино сердце», «Нахаленок», «Наука ненависти», «Судьба человека» и публицистические статьи, которые изучают в 5, 6, 7, 9 и 11-м классах.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Шолохов М. А., наследники, 2017
© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадр из фильма)
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ISBN 978-5-699-79218-4

Рассказы

АЛЕШКИНО СЕРДЦЕ

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа — как сохляя вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росой, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрал до канавы, стоная, долго перелезая через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносках была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай — скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склублились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу всё до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка — младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

— Бери за ноги...

Взяли. Алешка — за ноги, мать — за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

— Леш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

— А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

— Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

— Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...

Ноги у Алешки — как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивая слова:

— Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Польшка, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала, — голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха — баба ядреная и злая. Увидела Польшку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой — зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видал Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польшку с крыльца за ноги. Подол Польшкиной юбочки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровавистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Алешка, как Макарчиха кинула Польшку в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин

двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихино двора. Под амбаром загредел цепью и забрежал привязанный кобель.

— Цыц!.. Серко... Серко... — Стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась, спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и — к погребу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тархтящего сердца, не передыхая пил из кувшина молоко.

— Ах ты, хвятинов в твою дыхало! Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из захолодавших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

* * *

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день — праздник Троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

— Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

— Долго пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь — девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку — и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит — белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

— А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись,

нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

— Христа ради...

— Бог подаст!.. — И зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах — хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая — полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров — шаги и нечищенные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиною часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струею желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

— Это кто тут?

— Я...

— Кто ты?

— Алешка...

— Ну, вылазь!..

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

— Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Сеницын!».

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, тряся головой:

— Жалко тебе, жадюга?!

— Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь.

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская губами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Сеницын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил.

— От тебя воняет, Алешка?

— Я исть хочу... — буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

— Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

— Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

— У тебя черви?

— В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопля, а очкастый заглянул в круглую гноящуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

— Ты вот чего... ты мне их повыковыряй палочкой, а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился остороженько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой